

Проф. А. Скафтымов

Пушкин — поэт гуманизма

А. С. Пушкин — „создатель русского литературного языка и родоначальник русской литературы“ — в великую сталинскую эпоху сделался любимым поэтом широких трудящихся масс нашей многонациональной родины. В его творчестве воплотились талантливость, сила, вдохновение и страсть великой страны. Юбилей Пушкина — праздник социалистической культуры.

Со времени великой Октябрьской революции мы видели, как год за годом ширилась популярность творчества Пушкина среди трудящихся масс: увеличивался спрос на его сочинения в библиотеках, вырастали тиражи изданий, множились пушкинские читательские кружки, поднималась роль творчества Пушкина в формировании нового советского социалистического реализма в художественной литературе.

Наконец, в наши дни, в великую сталинскую эпоху, в результате исключительного подъема всех материальных и культурных сил нашей страны „слава Пушкина стала подлинно всенародной славой“ (Косарев).

В советские годы была произведена полная ревизия изданий текстов Пушкина. Путем тщательнейшего изучения подлинных рукописей Пушкина, вместе с вовлечением новых, ранее неизвестных пушкинских текстов, скрывавшихся под спудом царских цензурных архивов, — был восстановлен подлинный Пушкин, свободный от предвзятых искажений прежней дворянско-буржуазной литературной науки и критики. В настоящее время, в юбилейных изданиях Пушкина, если и остаются некоторые спорные пункты, то они касаются уже второстепенных деталей и уточнений. Основной корпус всего состава пушкинских текстов трудами советского пушкиноведения устанавливается точно и неоспоримо.

Одновременно вырастали популярные издания пушкинских текстов. Сначала мы узнавали и удивлялись десяткам тысяч экземпляров быстро расхваченных изданий Пушкина. Сравнительно недавно нас поразила цифра 10 0000 экземпляров „Евгения Онегина“, изданного в „Школьной серии классиков“ в 1934 году. Однотомник Пушкина, издаваемый Государственным издательством, с 1924 до 1933 года выдержал шесть изданий и разошелся в 120 тысячах экземпляров. Теперь эти цифры

нам кажутся ничтожными. Последний однотомник, вышедший в 1936 году, печатался в 500 тыс. экз., и в настоящий момент его уже нельзя купить ни в одном экземпляре. Общие тиражи юбилейных изданий Пушкина исчисляются миллионами экземпляров. Гослитиздат в четвертом квартале дал 15 названий юбилейных изданий Пушкина в 3 300 000 экз. Кроме того, Детгиз за тот же период дает 24 названия в количестве 3 225 000 экз. Кроме того, были издания „Academia“, Академии Наук появилось множество пушкинских текстов, изданных в провинции краевыми и областными издательствами. Дано много изданий в переводах на различные языки советских народов. И все же огромно возросший спрос на книги Пушкина остается удовлетворенным далеко не полностью. Каждая книга Пушкина жадно берется с прилавка магазина и быстро увлекается в глубины многомиллионной массы читателей.

Пушкина ценят и стремятся знать все. Не говоря о советской интеллигенции и огромных массах советской учащейся молодежи, Пушкина читает и изучает и рабочий, и колхозник, и красноармеец, и далекий северянин среди вечных снегов, и народы юга в степях, в горных отрогах и морских просторах.

Во всем этом открывается поистине замечательное явление нашего времени, свидетельствующее об огромном размахе культурной революции и грандиозном росте социалистической культуры в нашей стране. Это еще раз подтверждает мощь и величайшую благотворность совершившегося социалистического переворота. В то время, когда на Западе великие поэты народов превращаются фашистскими заправилками в объект гнусного поругания, когда в атмосфере культурного одичания буржуазного общества произведения великих поэтов и писателей остаются забытыми и недоступными для трудящихся масс, в нашей многонациональной стране творчество Пушкина делается любимым достоянием всех народов.

В чем же состоит историческая правомерность этого факта? В чем же заключается содержание того обаяния, которое в наших советских условиях получает Пушкин для огромной многомиллионной массы новых читателей, рожденных или перерожденных в огне революции и в дыхании новой свободной социалистической атмосферы?

Если на этот вопрос ответить совсем коротко, то мы скажем, что обаяние Пушкина для нас состоит в том, что его поэзия всегда была одушевлена лучшими стремлениями человечества к полной, радостной и светлой жизни, к свободе от всяких предрассудков, стесняющих волю и чувства человека, к свободе от политического угнетения, от социального рабства, от оскорбления и унижения человека человеком, стремлениями к раскрытию личности человеческой во всех ее способностях и потребностях, к светлой гуманности во взаимной встрече человека с человеком, к широкому просвещению и глубокой сознательности.

Содержание всех этих стремлений включает в себе те многовековые чаяния и ожидания народные, которые не находя себе удовлетво-

рения в классовом обществе, всегда болели в человечестве, звали к поискам новой жизни, охраняли чувство человеческого достоинства, возбуждали мысль, вселяли в сердце гордую отвагу в борьбе с насилием угнетателей, с темнотой, с дикостью нравов, с грязной неправдой и грубостью в отношениях между людьми. Все эти идеалы только теперь стали получать свое осуществление в нашей стране, где в корне уничтожена эксплуатация человека человеком, где исчезли все основания к неравенству между людьми, где открыты все просторы к широкому развитию личности, где в основу отношений положен принцип социалистического гуманизма, т. е. взаимное понимание и взаимное уважение всех трудящихся, где условием дальнейшего роста является наш общий труд, как дело нашей чести, славы, доблести и героизма. В Пушкине мы ценим певца тех страстных, но в ту пору неосуществимых и неосуществленных желаний, исполнение которых происходит лишь среди нас в росте великого социалистического строительства. Пушкин не знал подлинных путей к осуществлению этих желаний, и его энтузиазм оказывался бессильным. Он пал, пораженный гонителями. Его трагическая гибель является для нас историческим уроком к тому, чтобы еще крепче ненавидеть тяжелое прошлое и еще горячее любить наше настоящее и будущее.

„И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу
 И милость к падшим призывал“.

Эти слова Пушкина для нас особенно ценны. В них назван основной пафос поэтических вдохновений Пушкина, определена стержневая струя его поэтической деятельности, наиболее для него дорогая и интимная, составлявшая его радость в субъективно-поэтическом самочувствии и его гордость перед историей. Здесь же четко обозначено коренное противоречие, создавшее трагедию для всей его жизненной судьбы и определившее содержание его жизненной борьбы.

При выходе в жизнь Пушкина встретила жестокая аракчеевщина, крепостничество во всех формах жизни, фанатизм церкви, мистицизм ханжеской светской толпы, угашение мысли и знания в учебных заведениях и в печати, политическая гнусность реакционного „Священного союза“, далее последовала жестокая расправа с декабристами и затем на многие годы стабилизировалась мрачная николаевщина с бесчисленными щупальцами тайной полиции. Поистине — „жестокий век“.

Пушкин, вместо того, чтобы подчиниться общему ярму крепостнической тирании, отстаивает свою личность, защищает человеческие права на радость жизни, требует простора для творческого гения, клеймит светскую толпу, восславляет свободу, бичует тиранию во всех ее формах как в жизни политической, так и в области морально-бытовой.

Замечательно, что уже в лицейских стихотворениях Пушкин, вбирая в себя самые различные воздействия существовавших литературных

течений, все же в основном, преобладающем творческом подъеме ориентируется на самое передовое философско-литературное направление своей эпохи (эпикуреизм и вольтерьянство), разрушавшее традиционные нормы церковно-феодалной морали и открывавшее человеческой личности свободный выход к радости жизни. Не надолго и не намного его увлекает Державин. У Жуковского Пушкин берет лишь то, что в его поэтическом мастерстве было сильного и освобождающего от прежней рутины закостеневшего классицизма и ни в какой степени не заимствует у него тех элементов мистицизма и пиэтизма, которые навсегда оставались для него враждебными. Зато ему оказался близок Батюшков в его песнях и гимнах красоте и радости жизни. Ему близок Вольтер с его острым и злым антиклерикализмом, близки Парни, Шолье, Грекур, певцы любви и наслаждений. Отовсюду Пушкин выбирает здоровую материалистическую струю, идущую в разрез с ханжеской проповедью аскетизма, прописного воздержания и казенного пустосвятства.

Одновременно Пушкин уже испытывает на себе давление педантов, „угрюмых“ староверов, обветшалых мудрецов и чопорного, бездушного „света“, скованного рутинной принятой „приличий“. Уже в ранних стихотворениях Пушкина звучат ноты отщепенства, желания уйти из „мертвой области рабов, капральства, прихотей и моды“. Он жалуется, что „угорел в чаду большого света“. Пушкин уже узнал силу светской сплетни, клеветы и угрожающих обвинений в политической неблагонамеренности.

„Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой,
Кто тонко мог пленить красавиц нежной лирой,
Кто смело просвистал шутивой сатирой,
Кто выражается правдивым языком
И русской глупости не хочет бить челом!
Он — враг отечества, он — сеятель разврата
И речи сыплются дождем на супостата“.

Пушкин уже знает „тиранов модных зал“, „злых без ума, без гордости спесивых“, надоедающих казенными нравоучениями, — тупых и тщеславных, но огражденных вельможественным положением и льстивым низкопоклонством светской толпы.

„Я помню сих детей честолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал..
Когда в кругу Ланс благочестивых
Затянутый невежда генерал
Красавицам изношенным и сонным
С трудом острит французский мадригал,
Глядя на всех с нахальством благосклонным, —
И все вокруг и дремают и молчат,
Крутят усы иль шпорами бреччат,
Да изредка с улыбкою зевают —
Тогда, мой друг, забытых шалунов
Свобода, Вакх и музы угождают.“



Последний путь. С картины А. А. Наумова.

Не слышу я в то время острых слов,
 Политики смешного лепетанья;
 Не вижу я украшенных глупцов,
 Святых невежд, почетных подлецов,
 И мистика придворного кривлянье...

Поэт ищет отдыха, он порывается уйти куда-то „домой“, в „уединенье“, в узкий круг немногих молодых товарищей и друзей.

„...Признаюсь, мне во сто крат милее
 Младых повес счастливая семья,
 Где ум кипит, где в мыслях волен я,
 Где спорю вслух, где чувствую сильнее,
 И где мы все прекрасные друзья“.

Душному свету Пушкин противопоставляет уединенную деревню, где он надеется забыть „порочный двор царей, роскошные пиры, забавы, заблужденья“.

„Я здесь от суетных оков освобожденный
 Учуся в истине блаженство находить,
 Свободною душой закон боготворить
 Роптанью не внимать толпы непросвещенной“.

Рядом с этим вырастает политическое самосознание Пушкина, созревшее особенно быстро в ближайшие годы после окончания лицея, под воздействием тайных политических обществ. Ему становится понятной связь морально-бытового формализма и раболепия с политической тиранией самодержавия. Теперь Пушкин восславляет свободу не только в смысле осуществления личной моральной самостоятельности, но и в смысле установления нового общественного порядка с гарантией гражданских прав и подчинения тирана-царя всеобщим нормам государственных законов. Мотивы эпикурейской неги, личной непринужденности и покоя в творчестве молодого поэта заменяются или усложняются и углубляются призывами к борьбе против самовластия тирана.

„Беги, сокройся от очей
 Цитеры слабая царица!
 Где ты, где ты, гроза царей,
 Свободы гордая певица?
 Приди, сорви с меня венок,
 Разбей изнеженную лиру...
 Хочу воспеть свободу миру,
 На тронах поразить порок“.

Пушкину рисуется картина всюду распространившегося рабства и угнетения.

„Увы! куда ни брошу взор —
 Везде бичи, везде железы,
 Законов гибельный позор,
 Несовли немощные слезы;
 Везде несправедная власть...“

Уединенная деревня, где он полагал спастись от всеобщего рабства, открывает лишь другие стороны той же тирании и крепостничества.

„Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный повор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца...“

Пушкину мечталось или хотелось, чтобы крепостническое порабощение крестьян было уничтожено сверху, волею царя. Но, очевидно, он сильно сомневался в возможности столь мирного разрешения этой задачи и подобную надежду в известном стихотворении „Деревня“ выразил лишь в форме вопроса. К либеральным обещаниям Александра I Пушкин относился недоверчиво. В шуточном стихотворении „Noël“, на обещание царя поставить вместо петербургского обер-полицмейстера подлинное действие законности и „из доброй воли“, „по царской милости“ дать людям все права людей, мать отвечает откровенно недоверчивой и иронической репликой:

„Бай-бай! Закрой свои ты глазки;
Пора уснуть бы наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки!“

В оде „Вольность“ имеется прямой призыв к восстанию:

„Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстановьте, падшие рабы!“

После ссылки на юг в моменты непосредственного сближения Пушкина с крупнейшими деятелями южных обществ декабристов его революционная настроенность еще более возрастает. Волна политического освободительного движения на Западе (Италия, Испания, Франция и др.) воспламеняет его воображение, близость тайных политических организаций поднимает в нем веру в возможность революции в России (см. стихотворение „В. Л. Давыдову“, воспоминания Якушкина и др.).

Желания социальных перемен и в это время у Пушкина не шли дальше буржуазного конституционализма, в своих принципах сформированного идеологами буржуазной французской революции до-якобинского периода и буржуазного либерализма эпохи реставрации. Основным принципом построения общественных отношений Пушкин выдвигает требо-

вание законности, как бы не предусматривая классовой относительно-сти этого авторитета и его политического непостоянства. Во имя принципа законности Пушкин одинаково отрицательно относился как к представителям тиранической власти, так и к якобинской диктатуре (см. о Марате в стихотворении „Кинжал“). Тем не менее революционизирующее значение политических стихотворений Пушкина этого времени было огромно. Об этом свидетельствуют следственные дела и мемуары многих декабристов, в своем опыте переживавших воспламеняющее воздействие политических эпиграмм и оды „Вольность“.

Под влиянием спада революционной ситуации и побед реакции на Западе в 1823—24 гг. намечается отход Пушкина от декабризма. В связи с разгромом революционного движения декабристов Пушкин разочаровывается в перспективах и возможностях революционной борьбы с феодално-крепостническим строем, не переходя, однако, в лагерь реакции, напряженно ища новых путей для осуществления своих вольнолюбивых стремлений и сохраняя внутреннюю солидарность с идеалами декабристов („Послание в Сибирь“). В эту пору формируется новое отношение Пушкина к русскому самодержавию, переосмысливаются общие этические критерии в оценке общественного поведения человека, устанавливается новая тактика в борьбе за преодоление деспотических преград к счастливой и свободной жизни.

Самодержавие Пушкин теперь понимает как неизбежную силу истории, как неустранимую колесницу исторического процесса, которая при данных условиях не может быть остановлена, но усилиями людей может быть направлена в должную сторону и таким образом может быть использована как положительная сила социального прогресса. Пушкин желал бы подчинить самодержавие интересам народного благополучия. Он опасается эгоистического своевластия, для которого обладание властью является лишь средством насыщения хищного властолюбия, которое игнорирует жизнь массы, используя ее труд, пот и кровь лишь как пьедестал для личного тщеславия. В этом идеологическом плане была написана трагедия „Борис Годунов“, порицающая царей, сделавших трон объектом личных домогательств. Здесь уже предполагается образ идеального царя, самоотверженно отдающего себя на благо страны, царя—служителя народа, силой своей власти и труда ведущего жизнь государства по путям просвещения и гуманности. По типу такого мыслимого образца царей Пушкиным идеализируется историческая роль и личность Петра I.

„Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение
Не презирал страны родной
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник“.

Этому излюбленному утопическому образу царя—работника—народа Пушкиным посвящены две монументальные поэмы „Полтава“ и „Медный всадник“:

„Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия.
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра“.

Несостоятельность этой утопии очевидна. Тут дело, конечно, не только в том, насколько соответствовала реально-историческая деятельность Петра I тем идеальным представлениям, которые ему приписывались Пушкиным. Тут дело заключается в несостоятельности самой мечты о возможности гармонического согласования интересов всех сословий и классов под единым скипетром самодержца, каковы бы ни были его личные качества.

Был момент, когда Пушкин, повидимому, надеялся в Николае I увидеть некоторое осуществление такого идеального царя-гуманиста и просветителя.

В известных „Стансах“ (1826), обрисовав облик Петра I, Пушкин обращался к Николаю I со своим советом:

„Семейным сходством будь же горд:
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен“.

В этих словах Пушкин представлял царю свою декларацию, „договаривался“ о программе своих желаний. Но как только дело коснулось реальности, надежды быстро должны были рассыпаться. Пушкин скоро разочаровался.

Вместо ожидаемой правды, просвещения, смягчения нравов, справедливости и разносторонней деятельности на пользу родины, вместо благородного великодушия Пушкин в Николае увидел жадного к власти тирана, способного на низкие происки и подлость, тупого и равнодушного к народу, к ценностям просвещения, далекого от искусства, погруженного в исключительную заботу об охране собственного злого и завистливого тщеславия. В политике Николая господствовал беспримерный деспотизм и мракобесие, а в личных отношениях к Пушкину ничего не было, кроме лжи и вероломства, фальшивых обещаний и полицейской придирчивости.

Таким образом порывы Пушкина к свободному общественному самочувствию в условиях самодержавия закончились только болью горькой обиды и страдания.

Требование личной независимости и человечности одушевляло Пушкина также и применительно к частно-бытовым отношениям. Глубочайшей особенностью Пушкина и в этом случае является стремление сочетать принцип свободы с принципом гуманности.

Сам Пушкин в личном поведении отличался всегда живой общительностью. Ему свойственна была широкая нравственная доступность, теплая участливость и совершенное отсутствие угрюмости. Он принимает людей радостно и охотно. Обладание живой непосредственностью, способность всегда быть самим собою тоже несомненно были следствием его дружеской доверчивости к людям. Поиски уединения и внутренней сосредоточенности были у него не от нелюдимости. Такие моменты или были вынуждены окружающим недоброжелательством или вызывались творческими порывами к синтетическому осознанию себя. В своем кругу Пушкин являлся как бы прирожденным другом и общим товарищем. В частности, лицейское товарищество навсегда сохраняло для него светлое обаяние и прелесть интимно-домашней разделенности чувств. Он всегда испытывал потребность отдаться друзьям. И это у него совершалось без болтливости, без сентиментальности, без всякого отягощения собою. Наоборот, в нем всегда жила внутренняя деликатность, стыдливость в обнаружении чувства. Дружество в нем горело и выливалось само собою в светлой улыбке, заразительном смехе, доброй шутке, в откровенной интонации, в постоянной приветливой готовности уважительно отнестись к чужому чувству и благодушно снизить к недостаткам ради достоинств. Чувствуя себя, он не забывал других. Его открытость была полна доброжелательства.

Он знал, конечно, что может быть в человеке злого, тайно расчетливого и завистливого. Горькие уроки вынесло его простосердечие среди тайных интриг придворного света. Слишком часто он вынужден был скучать о просторах полей, о мирном уединении в природе. Но это уже не его вина, а его беда. В обществе, зараженном взаимной неприязнью неравенства и жадного собственничества, простодушие Пушкина не могло найти привет. И много раз приходилось ему терпеть „неотразимые обиды“. Но и в этом случае Пушкин не впадал в угрюмую мизантропию. Не здесь, так в другой среде он искал общения и приязни.

Пушкин всегда был чужд противопоставленности себя, как личности, общей человеческой среде. И когда ему пришлось столкнуться с байроновской идеализацией гордой презрительности и замкнутого отъединения, он отверг остроту байроновского индивидуализма. Своему кавказскому пленнику или Алеко он сочувствует лишь до тех пор, пока они являются „отступниками света“, пока они негодуют на тех, которые „любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей и ищут денег да цепей“, — иначе сказать, до тех пор, пока они противопоставлены светской мертвечине и расчетливости, и тоскуют о свободе своих чувств

и воли. Но как только они, замкнувшись в эгоизм, распространяют свои притязания в ущерб другим, без всякого внимания к тому, какие раны они своим себялюбием наносят другим, Пушкин уже не с ними. Он отвергает тех, кто „для себя лишь хочет воли“. Во многом разделяя скепсис и личную самостоятельность Онегина, Пушкин не простил ему его угрюмства, его неспособности поступиться собою, послужить делу и чувству человека, войти с ним в доверчивость и дружбу.

„Но дружбы нет и той меж нами
 Все предрассудки истребя,
 Мы почитаем всех нулями,
 А единицею себя.
 Мы все глядим в Наполеоны,
 Двуногих тварей миллионы
 Для нас орудие одно,
 Нам чувство дико и смешно“.

Указание на эгоизм, себялюбие всегда в творчестве Пушкина было средством величайшей моральной дискредитации. Этою чертою он опровергает своих героев всегда, когда желает их выставить в отрицательном свете. Пушкин как будто предугадывал позднейшие формы буржуазного индивидуалистического цинизма и тогда уже выставил противодействие этому маразму.

3

В свете противоречивых отношений Пушкина с окружавшей его атмосферой насилия должны быть поняты и его многочисленные декларации о самостоятельности и независимости поэтического вдохновения.

„Ты царь: живи один. Дорогою свободной
 Иди, куда влечет тебя свободный ум,
 Усовершенствуя плоды любимых дум,
 Не требуя награды за подвиг благородный“.

Высоко ценя свой поэтический дар, Пушкин не видел возможности его должного применения и признания со стороны современной ему общественности. Пушкин страдал от непонимания, от неспособности тогдашней журнальной критики и читательской светской толпы войти в круг его настроений, ощутить высоту его поэтического подъема и разделить с ним сознание значительности его дела. Пушкин не находил в современной ему литературной критике достаточной принципиальности, упрекал ее в обывательстве оценок, в неискренности художественного вкуса, в элементарности и шаблонности принятых теорий. „Произведения нашей литературы, — писал Пушкин в одной из заметок 1830 года, — как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству. Критика в наших журналах или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с кор-ректором и пр.“

Пушкин защищал себя от упреков в презрительном отношении к отзывам критики о своих произведениях. Он был далек от мысли о ненужности и бесполезности для художника литературно-критической среды. Наоборот, его горькие сетования на критику вытекали из его горячего желания найти необходимый и достойный отклик тому делу, которое составляло главнейший пафос его жизни, основу самоуважения и сознания личных заслуг перед историей. „Будучи писателем, — писал Пушкин в „Критических заметках“, — я всегда почитал долгом следовать за текущей литературой и всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал я повод. Чистосердечно сознаюсь, что похвалы трогали меня, как явные и вероятно искренние знаки благосклонности и дружелюбия. Читая разборы самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего противника и следовать за его суждениями, не отвергая оных с самолюбивым нетерпением, но желая с ним согласиться со всевозможным авторским самоотвержением; к несчастью замечал я, что по большей части мы друг друга не понимали. Если в течение шестнадцатилетней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику (не говорю уж о ругательствах), то сие происходило, конечно, не из презрения. Состояние критики само по себе доказывает степень образованности всей литературы вообще... Презирать критику, значило бы презирать публику (чего боже сохрани!). Не отвечал я моим критикам не потому также, чтоб я не полагал в сих критиках никакого влияния на читающую публику: мне совестно было идти судиться перед публикою; мне было совестно для опровержения критик повторять школьные или пошлые истины, толковать об азбуке, риторике, оправдываться там, где не было обвинений“.

Таким образом, если Пушкин иногда отварачивался от критики, то вовсе не потому, что в принципе отрицал надобность общения и взаимодействия между критикой и писателем, а лишь потому, что критику своего времени он считал слишком бедной и малокомпетентной. „Ты пишешь мне, — замечает Пушкин в одном из писем к Нащокину, — о каком-то критическом разговоре, которого я еще не читал. Если бы ты читал наши журналы, то увидел бы, что все, что называют у нас критикой, одинаково глупо и смешно. С моей стороны я отступился; возражать серьезно-невозможно, а плясать перед публикой не намерен. Да к тому ни критики, ни публика не достойны дельных возражений“.

Другой вопрос, насколько Пушкин был прав в столь низкой оценке современной ему критики, не проистекло ли его недовольство из принципиальных расхождений между ним и требованиями критики. Пусть даже так. Но в данном случае нам важно не это. Нам важно подчеркнуть отсутствие у Пушкина высокомерного игнорирования суда над собою, наличие живого стремления войти в общение с читателем, найти читательское мнение о том, что для него самого было значительного и важного в его творчестве. Но критика говорила не о том, проходила мимо, хваталась за периферию, и общения не получилось.

Надо при этом помнить, что известных статей Белинского о Пушкине в ту пору еще не было, а Полевой и Надеждин — предшественники Белинского — как раз в оценке Пушкина оказывались менее всего проницательными. Недостатка в одобрении со стороны критики вообще у Пушкина не было. Но что для него могло значить это одобрение, если оно не охватывало главного, того, что для него самого составляло основную и единственную существенную важность.

„Что слава? Шопот ли льстеца?
Гоненье низкого невежды?
Иль восхищение глупца?“

„Что же ты называешь критикой? — возражал Пушкин Бестужеву. — „Вестник Европы“ и „Благонамеренный“. Библиографические известия Греча и Булгарина? Свои статьи? Но признайся, что все это не может установить мнения в публике, не может почесться уложением вкуса. Коченовский туп и скучен. Греч и ты остры и забавны — вот и все, что можно сказать об вас. Но где же критика?“

Одною из постоянных литературных забот Пушкина было создание и установление „истинной критики“, которая была бы способна „забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление“ (Из письма к Катенину 1826 г.). В „Отрывках из разговоров“ в 1830 г. Пушкин писал: „Если бы все писатели, заслуживающие уважения, доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением, то вскоре критика сделалась бы не тем, чем она есть“. Пушкин неоднократно пытался вовлечь в это дело своих друзей Вяземского, Бестужева, Катенина и др. Его активнейшее участие в „Литературной газете“ Дельвига, его журнал „Современник“ были направлены в основном к той же цели.

Нельзя не признать, что многочисленные заявления Пушкина о самозаконности поэта, о независимости его творческого удовлетворения от чужих оценок и мнений, находились в связи с его низкой оценкой литературно-критической мысли своего времени. Однако это не все объясняет. Здесь имела место и другая более существенная сторона. Несомненно здесь опять переживался конфликт свободолюбивого поэта с насильническими домогательствами придворной толпы и царской власти. Содержание этих домогательств открыто было высказано Бенкендорфом в донесении императору Николаю 12 июля 1827 года. „Он (Пушкин), — писал Бенкендорф, — все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно“.

Пушкина хотели сделать рупором правительства, приспешником трона, певцом монарших „подвигов“ и „милостей“. Такая „обработка“ велась и путем личных указаний со стороны Николая и Бенкендорфа, и путем „критических“ замечаний на представляемые царю произведения Пушкина, и путем литературно-журнальных советов таких пособников власти, как Булгарин, Греч и др. Пушкин должен был обороняться от подобных ценителей и рецензентов, и теория о неприкосновенности

вольного вдохновения для него, несомненно, служила средством политической самозащиты.

Если к этому еще прибавить невежественно-высокомерное отношение к поэту со стороны „света“, с его застывшей скукой, холопством, дутой спесью и глупостью, то бегство Пушкина-поэта от „толпы“ становится совсем понятным именно как проявление его вольнолюбия и уважения к своему поэтическому делу. „Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом!“

„...Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на ваезжего фигляра...
Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глуща“.

4

Проявлением гуманности Пушкина было его отношение к крестьянству. Нам теперь, в советских условиях, странно говорить о простом человеческом отношении к крестьянину. Однако в „жестокий век“ Пушкина симпатии к крестьянскому быту, сочувствие крестьянским нуждам и, тем более, признание за крестьянином общих человеческих и гражданских прав являлось недопустимой крамоллой и рассматривалось как демонстрация недовольства и критики существующих крепостнических порядков. Специфически участливое отношение Пушкина к крестьянству, несомненно, являлось одним из поводов к заподозриванию его в „неблагонамеренности“ и в отсутствии „верноподданнических“ чувств.

Живя в Михайловском, Пушкин любил побродить среди народа. Крепостной дворовый крестьянин Петр, служивший у Пушкина в кучерах рассказывал: „Ярмарка тут в монастыре бывает в девятую пятницу перед Петровками; народу много собирается, и он туда хаживал, как есть, бывало, как дома: рубаха красная, не брит, не стрижен, чудно так, палка железная в руках; придет в народ, тут гулянье, а он сядет на-земь, соберет к себе нищих, слепцов, они ему песни поют, стихи сказывают. Так вот было раз, еще спервоначалу, приехал туда капитан-исправник на ярмарку: ходит, смотрит, что за человек чудной в красной рубахе с нашими сидит? Посылает старосту спросить, кто, мол, такой? А Александр-то Сергеич тоже на него смотрит, зло так, да говорит эдак скоро (грубо так он всегда говорил): „скажи капитану-исправнику, что он меня не боится и я его не боюсь, а если надо ему меня знать, так я — Пушкин“. Капитан ничто взял, с тем и уехал, а Александр Сергеич бросил слепцам беленькую, да тоже домой пошел“.

Об общительности Пушкина свидетельствует и другой крестьянин — Иван Павлов. „Я с ним не раз и купался в речке Сороти. В жаркие дни он покупаться любил... С мужиками он больше любил знаться, но



Пушкин, Жуковский, Крылов и Гнедич.

и господа к нему по вечерам наезжали и с барынями, — тогда фийерверки да ракеты пуцали, да огни, — и с пушки палили для потехи. Пушка такая для потехи стояла завсегда около ворот, еще с давнишних пор. Как же дескать: у Пушкиных, да без пушки? Как увидит девки навоз возят, — всем велит вокруг сойти да песни петь, а сам слушает, да чего-то пишет, а после денег даст. Много по полям да по рощам гулял и к мужикам захаживал для разговора. Он мужицкие разговоры любил. — Был он в те поры к нам прислан: под началом приходился, а он никого не боялся. С жандармом дерзко разговаривал“.

Пушкин проникновенно ценил поэтическую культуру крестьянства. Его активный интерес к народно-поэтической стихии начинается с самого раннего этапа литературной деятельности. В 1822 году он уже вел записи народно-поэтического творчества. Очень долго носил мысль об издании сборника русских песен. С большою серьезностью он готовился к выполнению этой задачи в 1828 году. С 1831 года он одушевленно разделяет свои планы с П. В. Киреевским, торопится „скорее издавать русские песни, которых, — по сообщению Киреевского, — у него к этому времени „было собрано довольно много“ (Из письма П. Киреевского 12. X. 1832 г.). План издания у Пушкина являлся настолько солидным и серьезно обдуманым, что Киреевский с своей стороны предполагал отдать ему для сборника и свое обширное собрание. По сообщению Н. М. Языкова, Пушкин в это время произвел сличение напечатанных русских песен, приводит их в порядок и сообразность. Намерение Пушкина не осуществилось, однако, его собрание явилось ценным вкладом в обширные фонды Киреевского. „Пушкин, — писал Киреевский в предисловии к одному из своих сборников, — доставил замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии“. Собираение Пушкин производил не только в Михайловском, но и в Болдине. В начатых (к сожалению незаконченных) статьях Пушкина о русских песнях обнаруживается тщательная изученность текстов и их тонкое понимание.

Пушкин долгое время был занят сказками, находя в них исключительную поэтическую прелесть:

„... Вечером слушаю сказки, — писал Пушкин брату в 1824 году, — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!“ Особое внимание Пушкина вызывали песни о Степане Разине, личность которого ему представлялась исключительно поэтической во всей русской истории. В народной поэзии Пушкин видел высочайшие качества поэтического искусства: „простоту, сжатость, соединенную с исключительною меткостью и точностью“.

В историческом прошлом России Пушкин особенно близко изучал моменты наиболее резко выраженных социальных конфликтов, и ему принадлежит заслуга осознания коренных противоречий существовавшего крепостнического неравенства с интересами многомиллионных масс

крестьянства. Проблему отношений между помещиками и крестьянами он считал центральной проблемой политической и общественной жизни своего времени. Вражда Пушкина к крепостной зависимости крестьянина всегда оставалась неизменной.

/

5

В условиях крепостнического рабства Пушкин мечтал о гражданской независимости и свободе; в обстановке светского снобизма, мертвых приличий и тайного злоискательства Пушкин горел порывами к гармонической полноте личности, к открытому и участливому общению человека с человеком; в дикой толпе жадного насилия, пресмыкательства и некультурной тупости. Пушкин стремился к радостям общественного понимания и созвучной разделенности гениального вдохновения; в атмосфере господствующего чванства и барской изолированности Пушкин порывался выйти навстречу к сближению с народными массами. Пушкин стал жертвою этих противоречий и погиб.

Но для нас ценен опыт этих противоречий. Полная, здоровая и счастливая жизнь возможна только при условии революционного уничтожения эксплуатации человека человеком, только в обстановке свободного коллектива.

„Только в коллективе получает индивид средства, дающие ему возможность всестороннего развития всех задатков и, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода. В существовавших до сих пор суррогатах коллективности — в государстве и т. д. — личная свобода существовала только для индивидов, принадлежащих к господствующему классу, и только постольку, поскольку они были индивидами этого класса. Мнимая коллективность, в которую объединялись до сих пор индивиды, всегда противопоставляла себя им как нечто самостоятельное; а так как она была объединением одного класса против другого, то для подчиненного класса она представляла собою не только совершенно иллюзорную коллективность, но и новые оковы. При действительной коллективизации индивиды добиваются в своей ассоциации и с помощью этой ассоциации также и своей свободы“ (Маркс и Энгельс, Собр. сочинений, т. IV, стр. 65).

Пушкин не принадлежал к тем „подчиненным классам“, о которых здесь идет речь. Но в тех стремлениях, которые составляли его внутренний идеал и которые являлись содержанием его поэзии, Пушкин оказывался отщепенцем и страдал.

Внутренний опыт Пушкина, однако, для нас дорог не только как урок истории, но и как живая ценность, включающаяся в богатство социалистической культуры.

Социалистическое общество, — говорил товарищ Сталин в беседе с Рой Говардом, — „мы построили не для ущемления личной свободы, а для того, чтобы человеческая личность чувствовала себя действительно свободной. Мы построили его ради действительной личной

свободы, свободы без кавычек.. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими..“

И вот теперь в нашей стране, где исчезли всякие основания ко всякой заносчивости в отношениях между людьми, когда все объединены взаимным уважением в обстановке общего труда для единой великой цели, когда подъем социалистической культуры дал Пушкину действительно-всемирное признание, когда слух о нем, как о великом поэте, проходит „по всей Руси великой“, когда его имя, действительно, называет „всяк сущий в ней язык“, — мы вовлекаем его лучшие тогда неосуществимые стремления, соединяем их с нашими великими целями в едином осуществлении и радостно принимаем его светлый призыв:

„Да здравствует солнце, да скроется тьма!“

А. С. ПУШКИН

1837--1937

*Сборник статей
и материалов*



САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВ 1937